

Военным громом опалены

(Продолжение)



Взрыв снаряда утром 4 мая 1944 года, словно страшный горный обвал, разделил дорогу надвое, отрезав от меня навсегда цветы, горящие всеми яркими красками, что дарует природа, россыпи звезд ночного неба, серебристо-брусничный блеск реки на рассвете, зеленую песню тайги, свет театральных рамп и киноэкранов, ласковые улыбки и взгляды — горячее многоцветье юности да и вообще жизни...

Готов ли я был к совершенно иным измерениям и новым путям моей судьбы? Разумеется, нет. Да, я, конечно же, знал, что война есть война, что могу быть раненым или убитым. Но знать это все же одно, а свалиться — другое. Если бы задали мне вопрос, какой отрезок жизни был для меня самым тяжелым? Я бы ответил: первые месяцы после ранения. Ибо переход от состояния, когда у тебя есть все: и молодость, и здоровье, и славная внешность, и дружба, и сердечные взгляды, и мечты, и надежды, и силы, — к мгновенному провалу, туда, где нет ничего, абсолютно ничего, кроме мрака, отчаяния и боли, — такое усвоить непросто.

Большее месяца я находился между жизнью и смертью, большую часть времени пребывая на «той» стороне, чем на этой. В сознание приходил редко, и то на короткое время. А потом, через месяц, медленно и с большим усилием все-таки переполз сюда, на «эту сторону». Переполз и понял, для того чтобы жить, бороться и завоевывать в этом мире какие-то высоты, нужно многое, и прежде всего воля, и даже не просто воля, а воля в квадрате. А первое испытание этой воли произошло довольно скоро при попытке перевезти меня из госпиталя в городе Саки в Симферополь. Ходить и даже просто вставать я тогда еще, естественно, не мог. Почему меня так скоро решили эвакуировать, я не знаю. Может быть, не хотелось возиться с таким тяжелым больным, как я, а может, хотели передать меня в более опытные врачебные руки, но как бы то ни было, меня отправляли. Натянули мне брюки, гимнастерку, сапоги, переложили, как мешок, с кровати на носилки и понесли. Но, видно, для таких путешествий я еще не годился. Едва меня вынесли на улицу и стали грузить в машину, как из лица у меня хлынула кровь, да так сильно, что меня почти бегом потащили обратно и, не снимая гимнастерки и брюк, сразу же положили на операционный стол. Подбежавшая ко мне хирург Тамара Тихоновна Егорова быстро и жестко сказала:

— Слушайте, лейтенант... у меня мало времени. Анестезию сделать не успею... Надо перевязать артерию, чтобы остановить кровь. Буду резать прямо так, по живому... Даже к столу привязывать тебя не буду... некогда. Выдержишь?

Я коротко сказал: «Да...»

Что я чувствовал, говорить не буду. Скажу только, что когда тебе без всякой анестезии режут на шее кожу и мышцы и копаются там внутри, перевязывая артерию, а потом снова все зашивают — ощущение не для слабонервных! Но я вспомнил железную волю своего отца и не застонал, не охнул ни разу. Кончив экзекуцию и бросив на стол перчатки, Тамара Тихоновна удовлетворенно сказала:

— Ну что ж, Эдуард, молодец! Тебя ведь Эдуардом зовут, правильно? Ну, жить тебе сто лет! Честно говоря, боялась, что не выдержишь. Ты в Москве живешь? Я тоже, возможно, после войны встретимся.

И мы действительно встретились в Москве в Центральном институте травматологии и ортопедии в 1950 году. На верхнем этаже института была зубная клиника, где я лечил зубы. И вот когда «зубная царица» профессор Померанцева уже цементировала мне пломбу, в кабинет под предводительством главного врача вошла шумная группа докторов-ординаторов. Они громко заговорили на свои профессиональные темы, и среди многих голосов я узнал один очень знакомый... ну просто очень... Приплюснув кусочки цемента, я громко сказал:

— Тамара Тихоновна, это вы?

От группы врачей отделилась женщина, быстро подошла и, взяв меня за руки, взволнованно спросила:

— Пойдите, пойдите, что-то очень знакомое... Ну конечно, я же вас оперировала... И зовут вас... — она замялась.

— Эдуард Асадов! — сказал я. — Вы еще предсказали мне долгую жизнь.

— Да, сто лет, не меньше, — ответила она, — теперь узнала... здравствуйте, славный мой, здравствуйте!

И вдруг, заплакав, обняла меня и поцеловала.

— Ну как же! Сто лет вам предсказывала, а надежды на то, что сумеем вас вытащить, было все-таки маловато. Теперь могу вам это сказать.

Вот такая произошла тогда встреча. Тамара Тихоновна была уже женой очень крупного генерала, но врачебную работу свою не бросала. И поставила на ноги еще много-много людей.

Но вернемся в лето тысяча девятьсот сорок четвертого. В госпиталь в Саках, туда, где начиналась моя новая, сложная и совсем незнакомая жизнь. И если вы спросите, откуда черпал я силы? Что помогало мне взять множество разных высот? И я отвечу вам так: у силы этой было множество составляющих. Тут и великая сила жизни, помноженная на молодость, и высокая цель, которую я выбрал и решил непременно достичь, и гордость и самолюбие (да, а почему бы и нет?). Отчего люди, порой абсолютно посредственные и даже пустые, все преимущество которых заключалось только в том, что они волею судьбы в годы войны остались невредимы, должны жить как победители этой жизни, весело, сытно и хорошо, а я буду где-тодохнуть и прозябать?! Нет, это мне не годится! Но была и еще одна сила. Та сила, значимость которой не только трудно, но и просто невозможно переоценить. Милые женщины! Чего только не случалось на свете: и радовали вы меня и огорчали. И спорил я с вами, и ссорился, да и сердиться доводилось мне тоже. Но все это в сутолоке жизни, в быту, в суете. А вот по большому, по глобальному счету, в вопро-

сах, где решается иногда практически все, в поступках, где как в капле воды, отражается сущность души — кто он: человек или дрянь? — в бесстрашии решений, в твердости духа, там, где мужчины порой только трусливо вильнут хвостом, в доброте и надежности, да мало ли еще в каких замечательных качествах, не было равных вам никогда и нигде. И без вашей поддержки, любви и сердечности, которые, как свежий весенний ветер, надували мои паруса, не смог бы я доплыть сквозь все штормы и бури до Острова моих надежд и сделать даже четверти того, что удалось мне все-таки сделать! Спасибо вам во веки веков! И в самом деле, разве забуду я руки, которые бинтовали, лечили и кормили меня с ложечки. Они не гнушались ни кровавых тампонов, ни швабры, ни судна. Они утешали и поддерживали. Слабые, они были порой сильнее, чем сталь. Полные доброты, они утешали в беде, гладили мои волосы и дружески подставляли плечо. И когда было мне трудно, они обнимали меня в знак любви и уверенности и вселяли в меня новые силы. Как же я могу это хоть когда-то забыть?! И когда случилась со мной беда, не все мужчины — мои товарищи и друзья оказалась рядом. Не все выдержали этот трудный экзамен жизни. Узнав о моем ранении, мой друг и товарищ Толя Изумрудов написал в письме: «Передайте Эдке, чтобы не журился». После этого исчез и больше уже не объявлялся никогда. Не хотелось бы об этом говорить, но из песни ведь слов не выкинешь. Навестили меня по разу в московском госпитале мои боевые товарищи, с кем делили и жизнь, и смерть, и радость, и горе, Борис Синегубкин и Юра Гедейко, сказали несколько дружеских слов и ушли на долгие-долгие годы... ушли, чтобы смущенно поздоро-

ваться со мной уже почти через тридцать лет... Нет, я не сержусь и не обижаюсь на них сегодня. Больше того, я написал о них в своей книге «Зарницы войны» немало добрых и веселых слов. Тогда обижался, печалился. Что было, то было. А сейчас уже абсолютно нет. Пусть всякий живет так, как он может. У каждого есть в мире свой потолок! И если ласточка родилась ласточкой, не требуйте от нее полета орла. Вот и все. Однако ушли от меня в ту минуту, признаться, не все. Иван Романович Турченко и Николай Никитович Лянь-Кунь остались моими друзьями на всю оставшуюся жизнь. Особенно тронул меня своими заботами Турченко. В голодные студенческие годы, работая директором серпуховского мясокомбината, он изо всех сил старался поддержать меня, что называется, на плаву, привозя мне то мясо, то сало, то колбасу. Он мог бы этого, конечно, не делать. Сослался бы на расстояние, на занятость, на дела, и гуд бай. И все было бы верно. Но друг ведь не зря познается в беде. Именно в ней-то он и познался. И все-таки я благодарен ему не только за сало и колбасу, а несравнимо больше еще за верность, за надежность, за чуткое сердце. Так было с мужчинами. Что же касается женских сердец, то тут потери были значительно меньше. Общаясь со мной в военные годы значительно реже, чем мои боевые друзья, они тем не менее в очень сложный и горький час оказались верней и надежнее многих. Ну чем особенно я был связан с девушками, которые приходили ко мне в московских госпиталях? Ну был знаком, да и только. И никаких обязательств передо мной у них вовсе не было. А они приходили и сидели возле моей кровати часами. И не просто сидели, а щедро дарили тепло своего сердца.

Но эти девушки хотя бы были знакомы, а та молоденькая повариха в городе Саки? Кажется, ее звали Наташей. Она видела меня в госпитале впервые. Откуда ж взяла она такое светлое душевное тепло? Какое? А вот какое: после того как меня прооперировали по поводу перевязки артерии, я был снова водворен в ту же палату. И так как состояние мое было тяжелым, то есть мне совершенно не хотелось, да и ел я мало и с большим трудом. И вот каждое утро прибегала ко мне из кухни молоденькая повариха-украинка и певучим ласковым голосом спрашивала меня о том, что бы я хотел съесть. Ну и перечисляла свои блюда и кулинарные возможности. А мне было, в общем-то, все равно, и ее это огорчало. Она не обижалась на мои отказы, а терпеливо стояла и, желая вызвать у меня аппетит, красочно расписывала разные борщи и тефтели. Однажды, когда я чувствовал себя особенно плохо и был не в духе, я ей сказал:

— Ну что вы все меня уговариваете: надо кушать да надо кушать. А чего мне кушать, когда неизвестно даже, надо мне жить-то на свете или не надо?

Она рассердилась:

— Это как же еще не надо? Вон вы какую операцию перенесли и даже не застонали. Я же знаю. Поправитесь, женитесь и как еще заживете!

Я с раздражением буркнул:

— Хватит вам сказки рассказывать. Да кому я теперь понадобится могу, такой красавец...

Ни секунды не колеблясь, она шагнула к моей кровати и горячо сказала:

— То есть как же это кому? Да хотя бы мне! Я за вас замуж пойду. Я вашу фотографию на удостоверении видела.

Парень вы хоть куда! А то что сейчас ранены, так ведь это же вы за народ, за победу нашу страдали. И потом с лица не воду пить. Я за вас пойду! Не верите? Увидите сами. Если вас куда увезут, то запомните, меня зовут Наташа. Поправитесь, приезжайте в Саки, спросите в госпитале Наташу Иваненко. И какой вы там будете, здоровый или не здоровый, я не боюсь. И работу найдем, и жить будем, аж чертям тошно станет! Короче говоря, если не передумаете — приезжайте. А я не обману. Это точно!

Не знаю, насколько серьезными были эти слова. Может быть, да, а может быть, нет, но столько было в этом голосе тогда уверенности, теплоты и духовной щедрости, что действие их было сильнее любых лекарств. Значит, чего-то я еще стою, если ради меня говорятся вот такие слова! До сих пор вспоминаю о ней с благодарностью!

Ко времени прибытия в госпитали Москвы я несколько окреп и мог не только сидеть, но и ходить по палате. Мир так устроен, что когда человеку хорошо, то вокруг него масса всевозможных друзей. А когда ему плохо, то чаще всего рядом с ним никого. В первые месяцы, когда я лежал в госпиталях городов Саки, Симферополь и Кисловодск, как это нетрудно понять, был я абсолютно один с неожиданно навалившимся горем, с разноречивыми мыслями, сомнениями и призрачными надеждами. Когда же я оказался в Москве, сначала на Усачевке, в госпитале 46—41, а потом в ЦИТО — Теплый переулок, 16 (теперь улица Тимура Фрунзе), то здесь, слава Богу, одиночеству моему пришел конец. Появился друг по госпитальной палате старший техник-лейтенант Борис Самойлович Шпицбург, или просто Боря, с которым мы подружились сразу и на

всю жизнь. Он читал мне газеты и книги, разгонял горькие мысли добрым словом и шуткой. Когда меня оперировали, терпеливо сидел возле операционной, потом спрашивал у входящих и выходящих сестер: «Танечка, ну как Асадов? А что ему сейчас делают? А состояние какое?»

Милый мой, добрый Боря! Да, я отлично знал, что ты сидишь там под дверью. Что ты смотришь на часы и волнуешься за меня. И от этого мне было немножечко легче. И когда должны были «подрезать» тебя, ты тоже знал, что я о тебе беспокоюсь и что первым, когда тебя привезут на каталке, кто станет у твоей кровати, буду я. Нас сдружили с тобой и горькие дни, и общие взгляды, и способность шутить в самые трудные минуты, и любовь к людям, и многое, многое другое. И то, что мы встретили друг друга, это наш общий выигрыш, выигрыш на всю оставшуюся жизнь!

Навещал меня в госпитале Иван Романович Турченко, он теперь служил в Наркомате обороны и, посещая меня, рассказывал все военные и служебные новости. И Коля Лянь-Кунь, когда оказывался в Москве, навещал меня тоже. Полковником он тогда еще не был, но дослужился уже до майора. Он был, как всегда, немногословен, но полон самой настоящей сердечности, которую сымитировать нельзя. И все-таки главными моими посетителями, а точнее, посетительницами, стали тогда девушки. И приходили они практически всегда. Одноклассницы, соседки по дому и просто знакомые, они прибегали ко мне кто чаще, кто реже, улыбались, говорили приветливые слова, изо всех сил старались влить в мою душу как можно больше света, бодрости и тепла.

Во всякой стране в каждую эпоху свой духовный настрой, своя общественная погода. В конце войны и в первые послевоенные годы в стране царил, если так можно сказать, дух горького возрождения. Весь драматизм войны, конечно, остался. Ни погибших, ни раненых не вычеркнуть из души и не забыть никогда. Это так. Но вместе с тем война уже разжала пальцы, что были на шее Москвы и Ленинграда, и отступала все дальше и дальше на запад. И все наше государство, перенесшее смертельную опасность, словно переживший кризис больной, расправляло плечи и, предвосхищая победу, уже готовилось к новой жизни. Жены и девушки писали письма на фронт, некоторые из этих писем публиковали в печати, читали по радио. В стихах, песнях и рассказах воспевалась любовь, настоящая, верная, на всю жизнь. Песня на слова Суркова «Землянка», стихотворение Симонова «Жди меня», рассказ Алексея Толстого «Русский характер», роман Василевской «Радуга» и множество песен на слова Фатьянова читались, пелись и были у всех на устах, сердечное счастье и горечь потерь то взвивались кострами, то чадили удушливым дымом практически рядом, на глазах у всех и были видны ярко и выпукло, как сквозь увеличительное стекло. Помню, как лежал со мной в палате раненый художник Телепнев. У него была оторвана нижняя челюсть. Говорил он очень неразборчиво и ел с колоссальным трудом с помощью воронки. Но как же трогательно и нежно ухаживала за ним жена. Она приходила почти ежедневно, кормила, поила, что-то тихонько шептала ему на ухо. И было столько между ними не показного, а подлинного тепла, что было ясно — это любовь такая, которая не кончится никогда.

И тут же рядом, только в противоположном углу, прямо за кроватью Шпицбурга лежал летчик Пасечный. С самого начала войны он летал с английской территории бомбить Берлин и другие германские города. Однажды бомбардировщик его был подожен взрывом зенитного снаряда. Пылающий, как факел, самолет Пасечный все же дотянул до британского берега. Бомбардировщик он посадил, но самого его из кабины уже вынимали другие. Лицо у Пасечного было разбито и обожжено. Его положили в челюстно-лицевое отделение английского госпиталя и крупный английский хирург-пластик с профессорским званием взялся помочь храброму русскому и пообещал сделать ему новое превосходное лицо. Но когда он уже приступил к операциям, в госпиталь пришел представитель нашего посольства и спросил:

— Вы любите свою родину?

— Да, конечно.

— И вы являетесь коммунистом?

— Разумеется.

— И вы мечтаете о скорейшем возвращении на родину? Не так ли?

Вопрос застал Пасечного врасплох. Да, на родину он, конечно же, рвался. Во-первых, отчизна есть отчизна, а во-вторых, дома его верно ждала жена, молодая и красивая, с которой он прожил всего три года. Но сначала он хотел, чтобы ему закончили все операции. Профессор был мастер своего дела и брался за работу охотно. Поэтому возвращаться сразу не имело смысла. Но представитель посольства думал иначе. В те времена мы избегали контактов наших людей с иностранцами. Он сказал, что